



ИШАЙ САРИД

МОНСТР

ПАМЯТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВСЕМ НАМ:

НЕЛЬЗЯ ПОЗВОЛИТЬ ПРОШЛОМУ ПОГЛОТИТЬ НАСТОЯЩЕЕ.

The New York Times Book Review

Ишай Сарид
Монстр памяти

Издательство «Синдбад»

2017

Сарид И.

Монстр памяти / И. Сарид — Издательство «Синдбад», 2017

ISBN 978-5-00131-373-1

Молодого израильского историка Мемориальный комплекс Яд Вашем командирует в Польшу – сопровождать в качестве гида делегации чиновников, группы школьников, студентов, солдат в бывших лагерях смерти Аушвиц, Трешлинка, Собибор, Майданек... Он тщательно готовил себя к этой работе. Знал, что главное для человека на его месте – не позволить ужасам прошлого вторгнуться в твою жизнь. Был уверен, что справится. Но переоценил свои силы... В этой книге Ишай Сарид бросает читателю вызов, предлагая задуматься над тем, чем мы обычно предпочитаем себя не тревожить.

ISBN 978-5-00131-373-1

© Сарид И., 2017

© Издательство «Синдбад», 2017

Содержание

Отзывы	6
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Ишай Сарид Монстр памяти

Yishai Sarid

Mifletzet Ha-Zikaron

THE MEMORY MONSTER

Copyright © Yishai Sarid, 2017

Published in the Russian language by arrangement with The Institute for the Translation of Hebrew Literature and Andrew Nurnberg Literary Agency

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2021

Перевод с иврита Галины Сегаль

Corpus Prava

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2021.

* * *

ОТЗЫВЫ

Предостережение всем нам: нельзя позволить прошлому поглотить настоящее.

The New York Times Book Review

Чтение этой смелой, сильной, жесткой книги – опыт болезненный и мучительный. Но абсолютно необходимый. Особенно сегодня.

Yedioth Ahronoth

Ишай Сарид прав: сегодня убежденность в том, что наша культурная память может сдерживать ненависть и фанатизм, кажется более сомнительной, чем когда либо.

Liberation

Эта бескомпромиссная книга оглушает.

Le Temps

Возможно, это самая важная книга о Холокосте и памяти о Холокосте, написанная за последние десять лет.

Билл Нивен, член Британской ассоциации изучения Холокоста

Пожалуй, самая значительная книга о морали и жертвенности. Вместе с Примо Леви и Ханной Арендт Ишай Сарид составляет «святую троицу».

Навиг Барель

Автор открывает читателю неприятную правду, зачастую скрытую за слишком обнадеживающим восприятием человечества, и говорит о том, что изучение ужасов Холокоста не делает этот мир лучше. А «никогда больше» чаще всего означает «никогда больше... для нас».

Митчелл Абидор, Jewish Currents

Автор движется за героем по спирали нервного срыва, попутно исследуя память и связанные с ней риски – и критикуя то, как Израиль использует Холокост, чтобы сформировать национальную идентичность...

Publishers Weekly

Роман представляет собой оригинальную вариацию на одну из важнейших тем литературы после Холокоста: в то время как бесчисленные писатели задавались вопросом, можно ли найти человечность в глубоко бесчеловечном, Сарид наглядно показывает, как озабоченность и одержимость бесчеловечным может сказаться на собственной человечности. Если это не обвинение в увековечивании Холокоста, то определенно глубокое и безкомпромиссное изучение его многослойной политики. В конечном счете, Сарид и отказывается извиняться за еврейский гнев, и осуждает гнусные формы, которые он иногда принимает.

Смелое, мастерское исследование банальности зла и природы мести.

Kirkus Review

Уважаемый председатель директората мемориального комплекса Яд Вашем, посылаю вам отчет о случившемся.

Мне сообщили, что вы его ждете, и я сам искренне желаю его предоставить, учитывая то доверие, которое вы мне оказали.

Вначале я попытался отделить отчет от самого себя, выполнить его в строгой научной манере, не примешивая ничего, что имело бы отношение к моей личности или истории моей жизни – ничем не примечательной. Однако, написав несколько строк, я понял, что это невозможно, что я и есть тот сосуд, в котором обитает история. Если трещины мои разойдутся и я распадусь на части, эта история исчезнет вместе со мной.

Я всегда относился к вам с огромным уважением. Несколько раз участвовал в обсуждениях, которые вы проводили, выполнял важные поручения, в числе которых был и этот последний проект. Мне не забыть проникновенных слов, что вы произнесли на презентации моей книги. Я делал для вас все, что было в моих силах, но не помню, чтобы мы с вами хоть раз побеседовали в неформальной обстановке. Я не жалею. Понимаю, как тяжело бремя, возложенное на ваши плечи. Помню чудесный вид на Иерусалимский лес, открывающийся из окна вашего офиса, запах каменных стен и дорогую ткань вашего костюма. Я всегда считал себя вашим верным посланником. Вижу перед собой ваше мудрое лицо и обращаюсь к вам как к официальному представителю Памяти.

К изучению холокоста меня привели соображения практические. Закончив службу в армии, пошатавшись, как это принято, в неприкаянности по городам и весям, я поступил в университет, где изучал историю и международные отношения. Мечтал о карьере дипломата. Мне казалось, что за границей жизнь моя станет лучше и веселее. Я, конечно, знал, что престиж дипломатической службы сегодня уже не так высок и что с наступлением цифровой эпохи необходимость в ней изрядно уменьшилась, однако считал это преимуществом. Я воображал, как сижу в легком костюме в кафе какого-нибудь тропического города, коротаю дни в изящной праздности, получая от государства скромное, но вполне приличное жалованье. Я не стремился стать лучшим из лучших, не хотел, чтобы в мою честь называли улицы и площади. Мне нравилось читать книги о великих людях и грандиозных событиях прошлого. Они успокаивали меня, потому что все в них уже свершилось окончательно и бесповоротно. Художественная литература меня тревожила – в ней все зависело от причуд автора.

На втором году учебы я пошел сдавать экзамены в Министерство иностранных дел. Мне тогда было двадцать четыре, и я легко справился с письменной работой и прошел первый тур. Во втором туре, который состоялся несколько недель спустя, экзаменаторы разбили нас на группы, дали разные задания, включавшие всякие хитроумные игры, а потом стали вызывать поодиночке на собеседование. Чем дольше все это тянулось, тем яснее становилось, что дела мои плохи. Я даже не стал ждать письма из министерства – и так было понятно: это провал.

Какое-то время я хотел махнуть на все рукой и отправиться куда-нибудь на Восток – скажем, в Таиланд. Все равно моя мечта от меня ускользнула. Но экономические и семейные обстоятельства (заболел отец) меня остановили. Распрощавшись с надеждами на дипломатическую карьеру, я оставил изучение международных отношений – сами по себе они меня не интересовали – и сосредоточился на истории.

Мне нравилось заниматься историей – писать статьи, проводить исследования, часами сидеть в библиотеке над старыми документами, делать перерыв на кофе и возвращаться к работе. Я шел по жизни неспешно, с важным видом. Получил степень магистра и вышел из безвестности, когда моя дипломная работа – написанная в рамках курса, который вел сам декан, – была удостоена многочисленных похвал. Декан взял меня под крыло и предложил стать ассистентом на кафедре. Я гордился своим новым положением. Декан обсуждал со мной разные варианты будущего, говорил об учебе за границей, и я уже видел, как сижу у камина в Оксфорде или Бостоне, старея с достоинством, и больше не жалел о том, что с Министерством иностранных дел ничего не вышло.

История Нового времени меня страшила; она казалась оглушительно ревушим бешеным водопадом. А я жаждал тихой, спокойной жизни, что вращалась бы вокруг древних времен, чья история открыта всем, но надежно запечатана временем и ни в ком не способна пробудить сколь-нибудь сильных чувств. Я подумывал заняться Дальним Востоком, но для этого требовалось выучить китайский или японский, а к языкам у меня особого таланта нет. От скитаний и бедствий собственного народа хотелось уйти как можно дальше. Я с самого начала чувствовал, что здесь меня подстерегает опасность. Но потом я встретил Руфь, дело стало двигаться к свадьбе, и пришлось спуститься с неба на землю. Хорошенько все обдумав, я понял: хоть на первый взгляд передо мной распахнулась необъятная сокровищница человеческой истории, запустить руки я мог лишь в пару-тройку сундуков. Вакансии в университетах освобождались редко, и их тут же расхватывали старшие преподаватели, а новые ставки открывались только для внештатных сотрудников: не работа, а подработка, с зарплатой, которой еле-еле хватало на хлеб.

Однажды декан сообщил мне, что разведывательное управление ищет специалистов по Ирану и готово оплатить кандидату докторантуру по персидской истории. «Но при условии, подчеркнул декан, что после защиты диссертации вы семь лет прослужите в вооруженных силах». И хотя я понимал, что сидеть мне предстоит в центральном офисе в Тель-Авиве, а не в танке, как во время обязательной службы, сама мысль о том, чтобы снова оказаться в армии, на несколько ночей лишила меня сна, после чего я объявил декану, что в предложении разведывательного управления не заинтересован. Тем более что такая специализация, опять же, потребовала бы изучения сложного иностранного языка. Декан все понял и сказал: если так, остается только один реальный вариант продолжить карьеру историка в Израиле – написать диссертацию по Холокосту.

Я ужаснулся – ведь я мечтал плыть по жизни, как по тихому безмятежному озеру. Сделал несколько тщетных попыток избежать грозящей мне участи. Одна из них почти увенчалась успехом: хороший австралийский университет в городе Перт готов был принять меня в докторантуру по истории средневековой Европы, оплатить жилье и предоставить должность преподавателя. Но Руфь была не в восторге от перспективы перебраться в Австралию, а дату свадьбы мы уже назначили. Отправься мы в страну солнечных пляжей, где пиво подают с четырех часов пополудни, возможно, нас ждала бы иная судьба.

Но я сдался.

Отправился к декану и сказал, что готов впрячься в колесницу Памяти. Стоило мне это сделать, как жизнь заиграла новыми красками. Мне назначили небольшую стипендию – пожертвование еврейской семьи из Америки, – достаточную для обеспечения нашего скромного быта. Я начал изучать немецкий и через несколько месяцев уже мог читать документы СС. Выше среднего уровня владения языком я так и не поднялся – Гейне и Гёте были мне не по зубам. Но я жадно глотал книги и другие материалы, какие только мог достать. В этом я силен – умею в сжатые сроки переваривать огромные объемы письменной информации. Больше всего меня интересовали технические подробности массового истребления: механика, люди, занятые в процессе, порядок осуществления процедуры. Я копал все глубже и глубже, пока тема диссертации не выкристаллизовалась и не получила одобрение руководителя. Я был на правильном пути.

«Сходства и различия в методике работы немецких лагерей смерти в годы Второй мировой войны» – так называлась моя докторская. Я сравнил и проанализировал процессы уничтожения в каждом из концлагерей – Хелмно, Белжеце, Трешлинке, Собиборе, Майданеке и Аушвице (естественно, последние два отличались тем, что были одновременно и трудовыми лагерями, в то время как первые использовались только для истребления). Я внимательно изучил, как именно все происходило в каждом отдельном лагере, начиная с момента высадки заключенных из поездов: как они раздевались, кто и как собирал их одежду и багаж, какую

ложь придумывали немцы, чтобы успокоить свои жертвы, как их потом стригли и брили, как вели к газовым камерам; я изучил устройство камер, узнал, где какой использовался газ, вник в принципы группировки людей внутри камер и в собственно процесс умерщвления; я узнал, каким образом выдергивали золотые зубы и искали ценности во всех отверстиях тела, как именно утилизировали трупы, как распределяли на тех или иных участках рабочую силу – и так далее. Я искал сходства и различия. Разумеется, каждая стадия, в свою очередь, состояла из бесчисленных подстадий со всевозможными особенностями и вариациями. Я прочел сотни книг и свидетельств о жизни и смерти в концлагерях – а может быть, и тысячи. Старательно изучал рабочие документы, проясняя непонятные детали. Информации было в избытке, и я уверенно сквозь нее пробирался. Структурные схемы стремительно разрастались, но я держал их под контролем. Сначала я тщательно систематизировал факты – Руфь помогла мне, создав специальные файлы, – а затем занялся научным вопросом: чем объясняется такое разнообразие в методах работы концлагерей, почему наблюдаются столь удивительные отклонения от абсолютного единообразия, каковое можно было бы ожидать, учитывая организацию и характер рассматриваемого процесса?

Одновременно я ради подработки начал водить посетителей по Яд Вашем. Вы возглавляли комитет, который принял меня на должность гида. Помню вашу статную фигуру и благоговейный страх, который она пробудила во мне. Вы спросили, почему я хочу водить экскурсии и осознаю ли, со сколь серьезными эмоциональными нагрузками сопряжена такая работа. Я ответил полуправдой, сказал, что для историка это замечательная возможность применить свои знания на практике и поделиться ими с людьми. Я не стал упоминать, что моя жена беременна и я – единственный кормилец растущей семьи. Сказал, что активно работаю над докторской диссертацией и собрал массу подробных сведений о технике уничтожения людей в лагерях смерти. В резюме упомянул, что во время армейской службы вел в школе бронетанковых войск курс артиллерийской подготовки, а потом, в университете, работал ассистентом декана исторического факультета. Вы попросили меня выступить перед комитетом, как перед школьниками, и коротко рассказать о восстании в Варшавском гетто. Похоже, я произвел хорошее впечатление, потому что уже на следующий день мне сообщили, что я принят.

Я не придавал особого значения вашим словам о психологической нагрузке, поскольку никогда раньше не страдал от серьезных эмоциональных потрясений и считал, что я к ним не восприимчив. Я сразу же бросился в работу с азартом молодого бычка – водил школьные экскурсии по музею и Саду праведников народов мира, а также вел занятия в Международной школе изучения Холокоста. Я щедро рассыпал перед детьми накопленные знания. У меня был к этому талант. Я стремился не заваливать слушателей бесконечными деталями, а давать им четкую и ясную общую картину с несколькими планами. Попытайся я удержать все сюжетные линии, дети бы вконец запутались. После одной из первых моих экскурсий дети сказали, что только благодаря мне осознали невероятный масштаб трагедии Холокоста.

Я отдавал работе всего себя без остатка, тщательно готовился к экскурсиям. Ни разу не позволил себе схалтурить. Я исходил из того, что дети не знают ничего, и моя почетная обязанность – вложить в них Память. Я рассказывал об истоках антисемитизма – как древнего, так и современного, о приходе нацистов к власти, немного о биографии Гитлера и его первых приспешников, о начале войны, о лишении евреев прав, о гетто, депортациях, массовом истреблении.

Иногда мне в душу западало интересное лицо каких-нибудь девочки или мальчика или точно сформулированный вопрос, но обычно школьники приходили и уходили, не вызывая во мне особых чувств. Я помню, как вы без предупреждения пришли послушать мою лекцию для учащихся старших классов то ли из Реховота, то ли из Гедеры, сели сзади, жестом велели продолжать, и мне захотелось произвести на вас впечатление. На экране был план Трешлипки, и я легко и без запинки пробежался по маршруту, закончив ямами, где сжигали трупы. Через

несколько минут вы кивнули мне и ушли. Позже заведующая школой сказала, что вы были впечатлены моими знаниями, однако посчитали, что следовало проявить больше эмпатии и сочувствия к жертвам. «Я историк, а не социальный работник», – подумал я, но пообещал, что все учту и исправлюсь.

В Польшу я впервые приехал во время работы над диссертацией, чтобы увидеть места, о которых прочел десятки тысяч страниц. Мой научный руководитель, заведующий кафедрой истории Холокоста, должен был поехать со мной. В Польше у него были обширные связи. Однако накануне отъезда у руководителя прихватило спину, – так что я отправился один. В аэропорту взял напрокат машину и две недели ездил из концлагеря в концлагерь, жадно осматривая их, без усталости делая фотографии и зарисовки. Поездка расставила все по местам. Я осознал увиденное, и это осознание привело меня чуть ли не в интеллектуальный экстаз. Путешествие принесло моей диссертации огромную пользу.

Через несколько месяцев я вернулся в Польшу, чтобы пройти курсы гидов-сопровождающих, и, увидев знакомые места, почувствовал себя почти как дома. Получив лицензию, я начал принимать заказы – и приезжать в Польшу все чаще и чаще. За каждый тур я получал несколько тысяч шекелей и наконец-то смог прилично обеспечивать нашу маленькую семью – Руфь и сына Идо.

Прошло совсем немного времени, и в горячие сезоны школьных поездок я уже покидал дом на месяц, а то и больше – как только заканчивалась одна, тут же начиналась следующая. Руфь и малыш привыкли. Да у нас и выбора-то особо не было. Не знаю, приходилось ли вам когда-либо сопровождать старшеклассников, лететь с ними ночным рейсом, по семь-восемь дней колесить с ними в автобусе, стоять перед ними и снова и снова объяснять, что случилось здесь, в этих лесах, в этих гетто, в концлагерях; пробовали ли вы пробиться сквозь равнодушные их лиц, найти лазейку в их залитый светом айфонов мозг. Не знаю, пытались ли вы объяснить им, что такое смерть, сообщали ли им данные и факты, цифры и имена; а они – шагали ли они следом за вами, завернувшись в израильские флаги, пели гимн Израиля у газовых камер, произносили кадиш на грудах праха, зажигали свечи в память о детях, погребенных в ямах, совершали всевозможные ритуалы, которые сами и изобрели, пытались ли выжать из глаз хоть одну слезу? Я часто задавался вопросом, испытали ли все это сами вы?

Экскурсия всегда начинается с кладбища в Варшаве. Господин председатель, уверяю вас, лучше бы от этого отказаться. Никто из детей не знает, кто такой Ицхок-Лейбуш Перец и почему в его честь воздвигнут столь величественный памятник. Полагаю, когда-то он был знаменитым писателем, но я не встречал никого, кто прочел бы хоть одну его книгу. Дети ничегошеньки не знают ни об эсперанто, ни о его создателе Заменгофе. И правильно не знают, ведь затея с эсперанто – пшик. Мы стараемся приобщить их к высокой культуре, но правда в том, что польские евреи не строили соборов и не писали симфоний. Большинство из них были мелкими торговцами, простыми людьми, которые ели селедку, слушали музыкантов-клезмеров и жили в лачугах. Под конец среди самых смуглых выходцев с Востока, тех, что убили Иисуса, стали появляться врачи и юристы. Ребята бродят среди надгробий, уставшие от ночного перелета, не зная, пора уже вернуться в израильский флаг или еще рано, машинально повторяют «Аминь» в ответ на молитву, произносимую учителем перед каждой важной могилой, им холодно, и единственное, чего им хочется, – добраться до гостиницы и хоть немного почувствовать себя за границей.

После кладбища мы везем их на автобусе в бывший еврейский квартал – на Умшлагплац, где был особый перевалочный пункт в гетто, а потом в Бункер повстанцев на улице Мила, 18. «Они были лишь немного старше вас, – объясняю я. – У них почти не было оружия, только коктейли Молотова да несколько ручных гранат и пистолетов. С этим бедным арсеналом они почти месяц противостояли немецкой военной бригаде».

Я стоял перед ними и пытался живописать им страдания и героизм, я придерживался всех ваших инструкций, не отклонялся ни вправо, ни влево. Я был паинькой, изо всех сил старался достучаться до них сквозь джинсы и легинсы, кудряшки, хвостики и тяжелые пальто, плоские остроты, равнодушные взгляды и айфоны. Проникнуть в их головы и в их сердца. По-настоящему мне ни разу это не удалось, потому что я недостаточно их любил. Теперь я это понимаю.

Ночи в гостиницах – кошмарный сон учителей, это извечный страх, что на следующий день газеты запестреют заголовками, сообщающими, что израильские школьники совсем распоясались в Польше, устроили погром в номерах, напились и вызвали проституток. Чтобы избежать подобного, учителя патрулируют коридоры, подслушивают у дверей номеров, грозят подросткам жуткими карами, запрещают покидать гостиницу, а наутро ходят с красными от недосыпа глазами. Но обычно ничего ужасного не происходит. Дети слоняются по фойе гостиницы, заказывают в номер максимум кока-колу, принимают душ, расходуя гостиничные шампуни и мыло, бренчат на гитарах грустные песни, а после отбоя ложатся баиньки. Иногда, конечно, попадают неуправляемые ребята, которые в общем-то уже и не ребята, а юная шпана: из их переносных колонок грохочут средиземноморские хиты – страшная месть голям и ашкеназам, они заказывают обслуживание в номера и потом не платят, оставляют после себя дикий бардак – с такими точно жди беды!

Учителя кричат «караул», и я бегу на помощь, хоть это и не входит в мои обязанности. Я провожу беседу с этими дикарями – разговаривать с ними я умею, ублажаю администратора гостиницы, договариваюсь о терпимой компенсации ущерба, успокаиваю перепуганных родителей. Слабый сигнальчик в мозгу предупреждает меня, что эти психи способны на убийство, при этом слушаться приказов толком не умеют. Они могут ими пренебречь, улизнуть от них, схитрить, пронести в номер водку, поднять гвалт посреди ночи, но, возможно, в решающий час они своего соседа не предадут, даже если им прикажут; в отличие от правильных деток, которые тут же подчинятся, потому что для них закон есть закон.

На второй день мы обычно отправляемся в Майданек – долгий путь на восток, маршрут, по которому двигались танки Круппов, чтобы занять жизненное пространство для немецкого народа. По всему горизонту тянутся поля, засаженные капустой и репой. Что такое танк, я знаю, и мне знакомо великолепное ощущение езды без сопротивления, без торможений, без остановок, в чреве стремительного железного зверя, где ты – часть его тела. По дороге мы дважды останавливаемся на заправочных станциях, покупаем еду и напитки, иначе детки начинают психовать.

Как известно, немцы не успели уничтожить этот концлагерь до прибытия русских, и он стоит целехонький в окрестностях Люблина, у шоссе, открытый взорам. В Майданеке видишь сразу все. Две маленькие газовые камеры расположены прямо у ворот, справа. Одну наполняли угарным газом из двигателя танка, другую – циклоном Б из банок. Там погибло от ста до двухсот тысяч человек, точное число неизвестно. По сравнению с другими концлагерями это немного, зато все на виду, вся процедура; есть также крематорий на холме, целенький, оборудованный внутри дома дымовой трубой, немецкими печами в хорошем состоянии, а рядом с ним – рвы, в которых умерли двадцать тысяч евреев, расстрелянных за один день во время операции «Эрнтефест», он же «Праздник урожая». Почему-то именно в Майданеке, пока мы шли несколько сот метров от газовых камер до крематориев и кургана из праха заключенных, я слышал, как, завернувшись во флаги, они шепчут: *«Вот как надо с арабами»*. Не всегда, не во всех группах, но достаточно часто, чтобы запомнить. Я притворился, что не замечаю – не мое это дело, пусть их учителя с этим разбираются. Но я слышал эти слова, господин председатель, я не лгу. Когда им показывают простой механизм истребления, который совсем не трудно воссоздать где и когда угодно, они начинают думать, как бы применить его на практике. А ведь они еще дети, и, естественно, им трудно остановиться. Взрослые думают то же самое, но

помалкивают. В конце, во время последних экскурсий, я рассказывал все у дверей крематория и не входил туда с ними. Я не хотел слышать, что дети говорят там, внутри.

В Люблине мы также посещали Ешиву мудрецов, где сегодня расположен странный отель, украшенный еврейской символикой. В синагогу можно войти через боковые ворота, заплатив польскому охраннику несколько злотых. Религиозные детишки в вязаных кипах любят молиться именно там. Я стою в стороне и слушаю. Иногда меня увлекает мелодия, порой – та или иная строчка. Потом, в старом городе, у подножия замка я читаю им «Фокусника из Люблина». Почти никто из них не читал Башевиса-Зингера... – и вот я снова очерняю молодежь, но я обещал рассказать правду.

Кроме еврейского наследия, в этом восточном городке ничего толком и нет. Унылое место. Из туристов сюда добираются только помешанные на военной истории. Вот в том здании находился штаб гестапо, на этой вилле жил Одило Глобочник, офицер СС, ответственный за операцию «Рейнхард», сюда, на задний двор, евреев сгоняли на принудительные работы – такие в Люблине достопримечательности. Население унылое и бледное. Черным и арабам въезд в Польшу запрещен, границы для них закрыты, а Израиль помогает полякам держать их на замке, поставляя всякое электронное оборудование. И это успешно работает – на улицах видишь только раздражающе одинаковые белые лица.

Вечерами я сидел в гостиничном баре и пил, иначе не мог заснуть. Порой я был издерган так, будто та самая операция шла полным ходом, и на мне лежали ее планирование, проведение и соблюдение сроков. Болело в груди, дергался глаз. Я никак не мог успокоиться и с нетерпением ждал конца дня, когда можно будет выпить, забившись в самый дальний и неприметный угол бара. Иногда ко мне присоединялся какой-нибудь мятежный учитель, тоже жаждущий уединения. Ведь нужно все время присматривать за детьми, следить, как бы они чего не выкинули, как бы не удрали из гостиницы, все семь дней ты – комок нервов.

Когда ко мне подсаживались учительницы, я ощущал себя плотоядным растением. Каждую хотелось проглотить целиком. Они хотели, чтобы я утешил их после всего, что им пришлось увидеть на экскурсиях, чтобы помог им осознать, как такое могло произойти. После пары бокалов они принимались расспрашивать про мою жизнь, про мою жену. Иногда душевными разговорами дело не ограничивалось. Между нами вдруг пробежала искра, и оправдание было под рукой – расстроены чувства, потребность в любви, в тепле.

У самой первой было длинное лицо и грустные еврейские глаза, она хотела, чтобы я лично ей растолковал, почему люди такое сотворили. Она просто не в силах была это понять, да и выпила больше, чем нужно. Я деликатно намекнул, что ее малость заносит. «А и наплевать», – сказала она с пьяной удалью. Нельзя было допустить, чтобы дети увидели учительницу в подобном состоянии, единственный выход – увести ее к себе в номер на другом этаже, чтобы она отдохнула там, пока хмель не выветрится. Она попросилась в душ и вышла оттуда полуголая. Я честно пытался этого избежать, но она проспала со мной до утра. В последующие дни я уже и сам надеялся, что она снова придет, но она протрезвела. О других случаях я сейчас говорить не хочу, это случилось раз или два – неважно. Это было совсем на меня не похоже. Как правило, мне хватало трех рюмок водки, чтобы заснуть в старом гестапо-отеле в Люблине.

В первых поездках ко мне прикрепляли выжившего в Холокосте старика по имени Элиэзер – бодрого, добродушного коротышку. Он любил разговаривать с детьми, отвечать на их вопросы. Умел их увлечь. Элиэзеру было одиннадцать, когда он сбежал из своего городка – вечером, накануне того дня, когда немцы отправили евреев в Белжец. Родители велели ему спастись одному – братья и сестры были слишком маленькими. Он жил в лесах, пока его не нашли партизаны. Элиэзер чинил им одежду – этому он научился у отца-портного, готовил им еду и иногда даже выходил с ними на дело – выводить из строя железнодорожные пути. Школьники слушали его истории затаив дыхание. Хоть я и замечал в его рассказах разные

нестыковки, звучало все правдоподобно, поэтому свои вопросы я оставлял при себе. Да мне и не доводилось слышать от выжившего такой рассказ, чтобы был без сучка без задоринки.

Главным недостатком Элиэзера было то, что он никогда не сидел в концлагере, а почти всю войну провел в лесах. Тем не менее он любил говорить о концлагерях, произносить полные гордости и надежды речи о молодежи, о Государстве Израиль – обо всем, в чем в силу своей биографии ничего не смыслил. Но ребята и учителя любили его, а я не вмешивался. Выживших в лагерях осталось совсем мало, здоровье у них слабое, а Элиэзер был как огурчик. Я сидел рядом с ним в долгих автобусных переездах, он рассказывал о детях, внуках, о процветающей ныне мастерской, которую он создал, когда иммигрировал в Израиль, и вообще о торговых и семейных делах. От его одежды исходил приятный запах старости. Мы отлично сработались. Элиэзер компенсировал мою холодность. У нас с ним установился четкий сценарий: я сообщаю факты, а он придает рассказу душевности. Все шло отлично, пока Элиэзер не упал у себя дома и не сломал шейку бедра. Он поправился, но в поездках больше не участвовал.

Пока Элиэзер лежал в постели, накачанный обезболивающими, я его навестил. В одночасье он растерял все силы – жена кормила его кашей с ложечки. Я довольно быстро ушел и больше не приходил. Найти замену Элиэзеру было очень трудно. Для знакомства с выжившими я использовал базу данных Яд Вашем. объездил всю страну. Устраивал встречи, пытался убедить подходящих кандидатов присоединиться ко мне. Объяснял, как важно оставить молодым наследие, из уст в уста передать Память, – тщетно. Большинству выживших участвовать в поездках не позволяло здоровье. У некоторых были проблемы с мышлением и памятью – признаки деменции. Другие не хотели возвращаться, боясь посттравматического стресса, и я их понимал. Некоторые, как я подозревал, служили капо или были коллаборационистами и всю жизнь это скрывали. С какой же стати открываться сейчас, на краю могилы?

Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы уломать одного, по имени Йоханан, инженера-строителя на пенсии, жившего на севере, в районе Крайот. Всю жизнь Йоханан упрямо отказывался возвращаться в Польшу, но после смерти жены им овладела тоска по родителям, по убитой сестре и по дому, в котором они жили тогда. Я убедил его к нам присоединиться и пообещал, что мы съездим в его родной городок. Йоханан коротко рассказал, что, когда их взяли, ему было пятнадцать, сестре семнадцать, и оба они прошли селекцию. Мать не прошла из-за какого-то кожного заболевания, а отец исчез за несколько месяцев до этого – его забрали на работы. «Я давно уже забыл их лица, – сказал мне Йоханан, – а сейчас они вдруг вернулись, я ясно вижу их перед собой».

Я сдержал обещание. По дороге в Краков мы свернули с главной дороги в его городок, каких тысячи в Польше и десятки тысяч в Европе. Автобус остановился на главной площади, напротив церкви и лавок мясника и пекаря. Я рассказал детям то, что нашел в документах, – эту церковь в урожайные времена построил на собственные средства аристократ-землевладелец. И он же осудил пятерых евреев за то, что те якобы примешивали к маце кровь христианских младенцев. Приговор был приведен в исполнение с помощью двух волов – осужденных привязали к ним и разорвали на части. И все же евреи продолжали здесь жить. Их презирали, ими помыкали, но они были частью окружающей среды.

Йоханан указал на дальний угол площади, где когда-то была синагога. Мы обнаружили, что сейчас там филиал банка. Мы зашли, и я показал детям место, где раньше находился ковчег со свитками Торы. Операционистка рассердилась и начала что-то нам выговаривать по-польски. Один из мальчишек сгоряча ей нагрубил, запахло скандалом. Заведующий филиалом вышел из своего кабинета, замахал руками, призывая всех успокоиться. Я объяснил ему по-английски, что Йоханан когда-то жил в этом городке, а здесь была синагога. Заведующий хмыкнул и пробормотал: «Добро пожаловать, добро пожаловать», но во всей его фигуре явно читалось: проваливайте!

Йоханан повел нас к своему дому. Было видно, как он ищет приметы в очертаниях старых деревьев, во дворах. Он чуть не споткнулся на разбитом тротуаре, потом свернул на заброшенную улицу, остановился перед маленьким домиком и сказал: «Вот здесь. Здесь мы жили».

Мы заглянули в окно – темень и запустение. Постучали в дверь – никто не ответил. Одна из учительниц заплакала. Дети стояли вокруг Йоханана, и он рассказывал им о своей семье, о сестре и о родителях, задыхаясь от слез, сам не свой от горя. Дети окружили его и утешали, учительницы обнимали его, все было невероятно трогательно.

Когда мы вернулись на церковную площадь, несколько поляков на нас уставились. И заведующий банком тоже вышел на улицу. Туристы до этого городка обычно не добираются, и евреев здесь, конечно же, не видели со времен войны. Один из зевак – от него разлило водкой – подошел к нам и заговорил. Поди поспорь с алкашом о тысячелетней истории. Я дал ему несколько злотых, пусть не думает, что евреи жмоты, и он помахал купюрами перед остальными. Мы оттуда убрались.

Мой долг перед Йохананом был выполнен, и на следующий день мы поехали в Аушвиц. Тут даже самых безбашенных подростков охватил священный страх. Бренд делает свое дело. Йоханан был без сил, я видел, что ему трудно идти, и лицо у него стало каким-то пустым. История его жизни должна была наполнить смыслом все те предметы и заброшенные строения, которые нам предстояло сегодня увидеть, и я надеялся, что Йоханан справится. Сначала мы, как принято, осмотрели первый концлагерь – Аушвиц I. Школьникам было трудно понять, что это за место. Здесь стояли не деревянные бараки, какие они видели на фотографиях, а аккуратные каменные здания, первоначально служившие казармами польской армии. Только внутри можно было увидеть камеры пыток, горы волос и протезов, подлинную газовую камеру и крематорий. Йоханан смущенно сказал мне, что никогда здесь не был, это не похоже на то, что он помнит. Я ответил, что он и правда был не здесь, а в Биркенау. Двое школьников хотели поддержать его под руки, но Йоханан пожелал идти сам, опираясь на трость.

Оттуда мы прошли к автобусу и за пару минут добрались до Биркенау. Именно здесь концлагерь являет свою суть – электрические ограждения, бараки, железнодорожные пути, ворота; вот оно, все настоящее, вы можете этого коснуться, дотронуться до места, где истребляли род людской. Я увидел, что руки у Йоханана дрожат, губы что-то беззвучно бормочут, и понял, что совершил ошибку. Я не должен был его сюда привозить. Воспоминания оказались слишком сильны. Дети завернулись в свои флаги и стали фотографировать ворота и проходящие сквозь них рельсы. Я привел группу к грузовому вагону, у которого всегда начинаю свою лекцию. Здесь производилась селекция: направо – те, кого отобрали для немедленного истребления, в среднем семьдесят пять процентов от каждого транспорта, налево – признанные годными для уничтожения через каторжный труд. Их отводили в бараки, раздевали, наголо брили, набивали им номер.

– Я вижу огонь, – сказал Йоханан, глядя вперед, вдаль, в конец дороги.

– Расскажите им! – попросил я.

Дети окружили нас, замерли в ожидании.

– Маму они забрали туда сразу, – сказал он, дрожа. – У нее выступила красная сыпь на коже, потому что у нас не было воды, чтобы помыться. Когда мы увидели дым из трубы, сразу поняли, что это мама. Ничего не надо было объяснять. Нас они забрали туда, – он показал на бараки за путями. – Сперва мою сестру, потом меня. Я видел ее издали, она была выше меня. Вот и все. Что я там делал в этих бараках, в нужниках, в карьере, спросите вы? Какая разница? Кого это заботит? Я знал, почему не хочу туда. Пусть разожгут огонь, и я в него прыгну. Ребята, я не сделал ничего, что давало бы мне право жить, пусть не рассказывают вам всякий вздор. Это больно, это слишком больно!

Не было смысла вытягивать из него что-то еще. Свою жертву чудовищу Памяти он принес.

Я тут же закончил экскурсию, мы не пошли ни в бараки, ни к руинам газовых камер. Потому что его мать и его сестра как будто в тот самый момент задыхались, корчились в муках, синели, мочились и испражнялись под себя. Может быть, у них были месячные. Может быть, зондеркоманда выволакивала их наружу, искала драгоценности у них во рту и между ног. Это происходило прямо сейчас, – оставаться там было невозможно.

Группа возмутилась. Директор школы пришел меня уговаривать, предложил, чтобы кто-то проводил Йоханана к воротам, посидел с ним в автобусе, а мы продолжили бы экскурсию. Дети подняли шум, затопали от разочарования ногами, на девчонках были сапожки, на парнях – неуклюжие кроссовки. Но мое решение было бесповоротным. Я привез его сюда, и я его отсюда вызволю. Он не останется в Аушвице ни минуты.

Мы вернулись в Краков. В гостинице прикрепленный к группе врач осмотрел Йоханана и дал ему успокоительное – старик все еще был очень взволнован. Я договорился с турагентством, чтобы Йоханана отправили первым утренним рейсом из Кракова в Варшаву, а оттуда в Израиль. Не волнуйтесь, дети ничего не потеряли, на следующий день мы вернулись в Биркенау и завершили экскурсию.

– Ненависть, – пытался я им объяснить, стоя между нарами музейного барака, – злоба и экономия. Экономия, злоба и ненависть – вот что тут было.

Впервые я осмелился отклониться от вашего обычного сценария, по которому работают все гиды, и мой голос дрожал.

– Здесь исчезла иллюзия, именуемая человеком. Посмотрите на себя, на ваших друзей, что вы есть? Мясные туши. Вам приходилось варить говядину? Тогда вы видели сухожилия и кровеносные сосуды, ткани. А рыбу вы когда-нибудь жарили? Вытаскивали из нее кишки, видели ее мертвые глаза? Это вы и есть. И если кроме кишок внутри вас имеется что-то еще, так это похоть и мерзкие побуждения, черви с амбициями. Но из соображений экономии следует воспользоваться животной энергией, которая в вас осталась. Вы не закаленные африканцы, привыкшие к тяжелому труду, и потому ваше уничтожение будет быстрым, позорным, нелепым. Ваше существование ранит землю. Ваша внешность, ваши хитрые разговоры – оскорбление человечеству.

Они смотрели на меня перепуганно. На чьей я стороне? Что за жуть я несусь? Мне необходимо было их шокировать. Я больше не мог выдавливать из себя все эти гладкие скорбные, беззлобные объяснения. В продолжение маршрута мы остановились у руин первой и второй газовых камер, примерно в километре от железнодорожной насыпи.

– Они шли сюда пешком, тяжелые чемоданы оставляли у вагонов, семьдесят пять – восемьдесят процентов людей в каждом транспорте уничтожались сразу же по прибытии. Вы должны это понять, история тех, кто остался в живых, – это просто сноска. Подлинная история – это история немедленно убитых, тех, которые не были нигде отмечены, не были зарегистрированы, которым не набили на руку номер, которых погнали напрямиком в газовые камеры.

Я встал напротив них над подземной раздевалкой, крыша с которой была снята, удалена, как корка с раны, а под ней – гниль. Перпендикулярно раздевалке расположена газовая камера, гигантский прямоугольник. Там все по-прежнему вопиет, эти прямоугольники кричат нам. *Как вы не видите?* Вот мама, вот бабушка, вот мальчик: они спускаются вниз по этой лестнице; здесь были вешалки, и скамейки, и указатели, ведущие к душевым. Их сопровождали зондеркомандовцы, обещая после мытья пирожок и горячее питье. Время от времени немцы лупили кого-нибудь дубинками, но изредка, чтобы не вспыхнул бунт, который осложнит операцию, потребует серьезного вмешательства. Дело застопорится, прольется кровь. Я не мог это прокричать, лишь выкладывал перед ними факты, спокойно, сдерживая боль.

Иногда, если погода позволяла, мы шли дальше, к построенным позже газовым камерам, в 1944 году, чтобы справиться с перегрузкой, возникшей в связи с необыкновенным наплывом

вом поездов из Венгрии. Это чем-то напоминало прогулку по заповеднику: в озерцах плавали водяные птицы, большие деревья качались на ветру, в весенней траве тут и там виднелись цветочки. Отовсюду слышались звуки природы. Немцы и евреи из зондеркоманды были здесь отрезаны от мира. Два-три раза в день прибывал транспорт, людей раздевали, начинали ими газовые камеры – две тысячи человек за раз, приезжала машина Красного Креста, из нее выходил немец и бросал внутрь банку с циклоном Б. Процесс умерщвления занимал двадцать пять минут. Когда стальную дверь открывали, внутри громоздились кучей скорченные грязные тела, а пол был покрыт испражнениями.

Рабы-евреи по-быстрому вычищали все внутри, освобождали помещение от мертвого груза, проверяли рты, срезали женские волосы (здесь мы видим разительное отличие от других концлагерей, где людей стригли до убийства), помещали тела в печи: толстую женщину к худому мужчине или женщину к ребенку и мужчине – главное, чтобы хватило жира для сжигания всей закладки. Такая жирная работа случалась по нескольку раз за день, но большую часть суток – когда останки уже уничтожены, а следующий транспорт еще не прибыл – в лагере царил европейская идиллия, можно было перекусить и отдохнуть.

Куда бы мы ни пришли, дети везде пели гимн Израиля. В Треблинке, напротив мемориала, в Аушвице на платформе, у общих могил в лесах, в Бункере Анелевича на улице Мила. Завернутся во флаги и поют – и так всю поездку.

На одной экскурсии я осторожно спросил учительницу-организатора: может, стоит малость снизить градус? Исполняя гимн по два-три раза за день, по нескольку десятков раз за неделю, в некотором роде обесцениваешь его.

Учительница посмотрела на меня с изумлением.

– Это их утешает, – сказала она. – Это наша победная песнь. Без него что нам остается? Лишь отчаяние. Мы не хотим, чтобы дети возвращались в Израиль с отчаянием в душе. Нам нужно вселить в них надежду.

Я решил не спорить. Мог бы, но зачем? Она была права.

Ненависти к немцам эти дети не испытывали, совсем никакой, даже близко не было. В истории, которую они для себя сочинили, убийц почти не существовало. Они пели печальные песни, заворачивались в израильские флаги и молились за души убитых, словно их гибель была predetermined свыше, – но никогда не направляли обвиняющий перст на исполнителей. Поляков дети ненавидели гораздо сильнее. Когда мы проходили по улицам городов и деревень, они при каждой встрече с местными бросали злые слова про погромы, про их сотрудничество с немцами, про антисемитизм. Но ненавидеть таких, как немцы, нам тяжело. Взгляните на их военные фотографии. Если посмотреть правде в глаза, выглядят немцы просто классно, в этих своих мундирах, на этих своих мотоциклах, невозмутимые, как модели на рекламных щитах. Арабов мы в жизни не простим за их вид, за их щетину, за их коричневые мешковатые штаны, за их некрашенные хибары, за их сточные канавы, за их детей с гноящимися глазами. А вот этот европейский облик, ясный, чистый, – ему хочется подражать. Это первое.

Второе – немцы намеренно старались совершать свои убийства на польской земле, чтобы Германия оставалась красивой, чистой и опрятной. И преуспели. Вся мразь была выброшена на восток, на богом забытые свалки органических отходов, чтобы никакое зловоние не мешало прогрессу и культуре. Интеллигентные туристы могут посетить Дахау, или праздничные площади Нюрнберга, или Олимпийский стадион в Берлине, но настоящий незабываемый кровавый кошмар надо искать на востоке, где в дождливый день зоркий путник до сих пор может заметить торчащую из земли кость. В Шварцвальде, куда наши туристы ездят отдыхать семьями, земля осталась неоскверненной. Немцы специально так задумали. И, что тут скажешь? Задумка удалась.

Третье – это, конечно, большие деньги, которые они заплатили Государству Израиль, и другие поблажки, которые помогают забыть.

И последнее, то, что я осознал лишь со временем, – тайное восхищение душегубством, решительным, дерзким, безжалостным. Невероятным актом сосредоточенной, окончательной жестокости, после которой не остается уже ничего.

Пожалуйста, не подумайте, будто я ненавидел этих ребят. Я видел в них собственное отражение. Я приписывал им все, что было в голове у меня самого, что не давало мне покоя. Я пытался скрыть это за знаниями. В каждой группе находились дети с умным, чутким взглядом, и я старался обогатить их знания. Я рассказывал в микрофон о немецкой любви к зеленым просторам, открывавшимся нам из окна автобуса, об их тоске по дням славы тевтонских рыцарей на Востоке и мечтах вернуться в города, которые они создали, снова стать нацией крестьян, воинов и здоровых, плодovitых матерей.

Большинство детей шумели и не обращали на меня внимания. Или пялились в айфоны, занятые перепиской и играми. Лишь немногие слушали.

– Присядьте, отдохните, – сказал мне однажды директор школы, увидев, как я напрягаюсь, и решив меня пожалеть. – Они уже узнали больше, чем стоило.

В соответствии с распорядком я должен был каждый вечер проводить с детьми задушевные беседы в гостинице, обсуждать непростые впечатления прошедшего дня. Школьники были измотаны и мечтали о свободном времени, сбежать с сиделок им мешали лишь страх перед учителями и серьезная тема беседы. Говорили в основном девочки – рассказывали, как им было грустно, а мальчишки молчали, уставившись в пол, и ждали, когда уже все закончится. Честно говоря, у меня не было на это сил. Я делал вид, что вникаю в их чувства, вдумчиво кивал головой, но на самом деле мечтал перебраться в темный уголок бара и там завершить свой день.

Я не верил тому, что ребята говорят на публичных обсуждениях. Мои уши ловили их тайные разговоры на задних рядах во время официальных церемоний, в автобусе, на тропинках, за столом во время завтраков и ужинов. Там высказывались мысли совсем иного толка – те, что легко перепархивают из потаенных уголков сознания прямо в рот, проскальзывают между зубами, превращаясь в слова. *Ашкеназы*, – слышал я не раз и не два, – *это предки леваков*, не сумели защитить своих женщин и детей, сотрудничали с убийцами, это не мужики, не умеют отвечать ударом на удар, трусят, червяки, дают арабам творить что хотят. Я слышал в их голосах злорадство, слышал, как они говорят между собой, что ашкеназы не были невинными жертвами, видно, не просто так их убивали, смотрите, что они сделали с мизрахим¹, таких змей никто не любит. Да, были и такие разговоры, господин председатель, у меня нет причин лгать. Необходимо исследовать это явление. Я не стал искать научного объяснения. Сам я ашкеназ только на четверть, лично мне обижаться не на что. По их представлениям, я на три четверти мужик. Но откуда это отращение?

Только несколько лет спустя я осознал, что места, пропитанные ненавистью, лишь плодят ненависть. В какой-то поездке в Биркенау один школьник, толстяк со злобным взглядом и покрасневшимися от холода щеками, начал выцарапывать на деревянной стене женского концлагеря: «Смерть левакам». Бдительный учитель вмешался и не дал ему закончить. А дружки принялись его утешать и сказали, что в Израиле они завершат это дело вместе. Закутанные в государственные флаги, с кипами на головах, они ходили между бараками, испытывая ненависть, но не к убийцам, а к жертвам. Осознать это было нелегко. В разговорах по душам ребятки помалкивали, но все же я разгадал их – целиком и полностью, до конца.

Тем временем карьера моя шла в гору. Я уже почти получил докторскую степень. У меня были хорошие рекомендации от директоров школ, я прекрасно ориентировался на территории

¹ *Мизрахим* – условное название евреев, проживающих и проживавших в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и выходцев из этих стран в Израиле.

концлагерей, был прилежным и верным служителем Памяти. Я постоянно разъезжал с группами и в Израиле почти не бывал. Руфь привыкла и, ожидая, пока дела окончательно наладятся, растила нашего сына в одиночку. Мы очень боялись скатиться в нищету, а поездки пополняли наш банковский счет.

Доказав свою компетентность в организации экскурсий для школьников, я с успехом выдержал экзамен на гида-сопровождающего для солдат и работников Министерства безопасности. Работалось с ними гораздо легче. Они являлись в военной форме, дисциплинированные, не мешали, моим объяснениям внимали молча. Подслушивать их разговоры было неинтересно. Я скучал по безобразной болтовне школьников. В красивой старой синагоге города Тыкоцина, евреи которого были расстреляны в близлежащем лесу, они надевали на головы береты и молились за благополучие Государства Израиль: *«Оплот Израиля и Избавитель его! Благослови Государство Израиль, начало избавления нашего. Храни Израиль по великому милосердию Твоему, прости над ним покров мира Твоего»*. Это было красиво, и мне тоже хотелось поклониться Ему, но там Бога не было, я в этом уверен, а если и был, то был он богом дерьмовым, дерьмовым отцом в Небесах, величайшим дерьмом, – со всеми вместе я произносил: *«Аминь»*.

У входа в Детский лес, на окраине города Тарнова, трубач военного оркестра играл перед тремя марширующими колоннами. Немцы расстреляли здесь десятки тысяч человек, по большей части евреев и нескольких польских интеллектуалов – и восемьсот маленьких детей из еврейского сиротского приюта. Я объяснял, как убивали здесь еще до создания лагерной системы. Убивали неаккуратно. Повсюду кровь, дергающиеся тела, ненужные свидетельства. Соприкосновение с жертвами чересчур непосредственное, расход боеприпасов чрезмерный – вот что заставило их построить концлагеря, в которых процесс уничтожения напоминал борьбу с вредными насекомыми или мышами, а для черной работы можно было использовать рабов-евреев. Трубач исполнил красивую и печальную мелодию, армейский кантор пропел «Эль мале рахамим», потом спели гимн, женщины-офицеры положили на землю плюшевых медвежат – детям.

Эти военные вовсе не ненавидели немцев. В их речах убийцы не имели ни облика, ни языка – будто свалились с небес. Мы здесь не ради мести, – неизменно повторяли офицеры в своих выступлениях перед безмолвными солдатами, стоящими по трое, в парадном обмундировании.

Если бы вы служили тогда в немецкой армии, скажем в пехоте, или занимались техобслуживанием самолетов, или распределяли личный состав, или сидели на станции радиоразведки, и ваша любимая родина пребывала в состоянии войны с врагами, что окружают ее со всех сторон, дезертировали бы вы из армии, если бы узнали, что где-то в далеком, богом забытом краю, на востоке, совершаются такие грязные дела? Скорее всего, нет. Я бы точно не дезертировал.

Однажды, в Биркенау, в особенно жаркий летний день, после того, как я провел несколько экскурсий для военных, слишком долго пробыл на солнце и слишком мало пил, перед глазами у меня замелькали огоньки. Я стоял перед солдатами у бетонных развалин газовой камеры, и вопросы, роящиеся в моей голове, выплеснулись наружу.

– Кто бы из вас дезертировал? – выпалил я.

Ни одной руки не поднялось. Лица у всех были растерянные. Симпатичные младшие офицерики стали переглядываться – *о чем это он?*

И тут я не смог сдержаться и задал им еще один вопрос:

– Если бы вы узнали, что в одно прекрасное утро проснетесь и обнаружите, что ваши извечные ненавистные враги исчезли с лица земли, при том что ваши руки не обагрились кровью и ваши глаза не увидели ни единого трупа, кто бы из вас об этом пожалел?

Ни единой руки не поднялось.

Полковник – руководитель группы, подошел ко мне и прошептал на ухо:

– Они не поняли вашего вопроса. Вы сбиваете их с толку. То, что вы делаете, недопустимо.

Концлагерь закружился вокруг меня – верхушки деревьев, бараки, бетон. *Что я делаю... Что я делаю...* Я не хотел заводить солдат в этот лабиринт кошмаров. Он был предназначен для меня одного.

После ужина в гостинице, во время вечерней беседы, я попросил прощения за свои слова, сказал, что перегрелся на солнце, что меня одолели чувства, что у меня много нерешенных внутренних проблем. «Я слабый человек», – сказал я им. Я искренне в это верил. Мне хотелось их успокоить, я до смерти боялся остаться без них. Я так каялся, что старший офицер подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Ладно, проехали». Насколько я знаю, об этом инциденте он не сообщил.

Вы наверняка помните, что, как только я получил звание доктора наук, вы вызвали меня к себе, в ваш уютный кабинет в каменном здании. Вы сказали, что прочли мою диссертацию и впечатлены точностью приведенных данных, а также тем, что мне удалось избежать ловушки сентиментальности и пойти весьма интересным путем, рассмотрев процесс Холокоста с практической стороны. Вы сказали, что с удовольствием опубликуете мое исследование в виде книги. Разумеется, потребуется некоторая редактура, чтобы адаптировать материал для широкой аудитории. Я сидел перед вами, гордый и благодарный. Беседовали мы долго. Вы захотели узнать мое мнение по некоторым вопросам, сказали, что вам нужна свежая кровь, что есть много тем, ожидающих подходящего человека, но, к сожалению, свободных вакансий не хватает и вы не можете предложить мне полную ставку, но будете рады регулярно привлекать меня к различным проектам, потому что ищете именно такого человека, как я, способного к глубокому анализу и отлично владеющего темой.

Вышел я от вас окрыленный. Уже на следующий день мне надо было лететь с группой в Польшу, но я успел заскочить домой и вместе с Руфью забрать Идо из детского сада. Мы посидели в кафе. Я помню каждую минуту этого дня. Руфь сказала: «В жизни не видела тебя таким счастливым!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.